

«...Продолжай, спеш  
Еще наполнить звуками  
мне душу».

А. ПУШКИН.

Хотя лето было еще в разгаре, вот уже какой день подряд к вечеру собирался дождь. Он падал на город внезапно и тяжело, параллельно неся струи и расчерчивая нотные станы проводов в косую линейку. Музыка дождя трепетала в глянцевых, свежих листьях, бурлила в водостоках, шуршала шинами машин, медленно прокладывая дорожку в сплошном водяном потоке.

В комнате стало темно и только лаковый бок породистого рояля играл бликами. Крышка рояля была деловито откинута как чехол пишущей машинки или любого другого рабочего инструмента, готового призвать в самое неподходящее время — днем или ночью. А передо мной, чуть ссутулясь, ходил композитор, старательно отгибая углы рояля, будто и не замечая его, но одновременно ни на минуту о нем не забывая. Так старается не замечать режиссера актер, не занятый в этой сцене, но все-таки настороженно-чуткий и ревнивый к его зову и вниманию.

Было тихо, только приглушенно играл магнитофон, который раз повторял то место из кинофильма «Мария-Мирабелла», где все живое, сказочное население приходит к общему согласию, и робко, как почки лопаются, вступают скрипки, высоко, будто привстав на цыпочки, выводя мелодию: «Лалала».

— Ну, разве не хорошо? Ведь хорошо! — неожиданно наклоняет голову композитор, неподвижно косясь на меня, как бы проверяя первое впечатление слушателя и потенциального зрителя еще не отснятого в Бухаресте советско-румынского фильма по сказке Иона Крянге, музыку к которому он так напряженно слушал минуту назад.

Меж тем соображаю: ага, сам написал и самому нравится. А еще говорят: Евгений Дога не из тех, кто бережет черновики. Он их попросту выбрасывает. Одному богу известно, сколько нот, а с ними и маленьких находок уничтожено в работе над фильмами «Лэутары», «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь». Остались тоненькие папочки. А тут — на тебе. Чуть ли не откровенное любовное. Десятый раз прокручивает бобину ради удачно найденного места.

На самом деле был тот сложный для каждого художника период, когда работа над одной вещью закончена, но он от нее еще не «отшел», она мешает взяться за другое и все время оглянуться назад: что получилось? Закончив музыку к «Марии-Мирабелле», Дога столкнулся с тем, что все высказанное имеет над нами гораздо меньшую власть, чем утаенное. И теперь стало пусто, стало — никак. Что же полагается делать с этим новым состоянием после напряженных бессонных ночей, он не знал в очередной раз. Душа изнывала. Ей нечем было наполниться. Вот он и ходил, как неприкаянный.

Но ради двух-трех слов восторга и суда.  
Как мается душа, как мается душа...

1.  
Почему-то неизменно приходит на память первое интервью, взятое у композитора во время летнего ливня, щедро омывшего воспетый им Белый город. Не скажу, что оно было удачным.

Шестеренки диалога мерно цеплялись зубцами, но, похоже, каждый из нас понимал, что слова — лишь фон. Время добираться до сути еще не пришло. Какой-то гипноз умолчания.

— Знаете, приходите на мой авторский вечер. После него поговорим...

Отфутболил, конечно. Маленькая муть за то, что в двух-трех местах злогопучного интервью мы менялись местами: спрашивал Дога — корреспондент растерянно молчал.

Не обо всех вещах композитора смогли мы говорить. Вроде бы, некого винить за то, что запаздывает фирма «Мелодия» с пластинками его произведений, выпущенных уже за рубежом, что почему-то редко исполняются его вещи в жанрах симфонической, хоровой, вокальной, камерно-инструментальной музыки. И что стали модны несколько песен и пьес — «Мне приснился шум дождя...», «Мой белый город», «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», «Баллада» к спектаклю Иона Друцэ «Птицы нашей молодости», нещадно эксплуатируемые в качестве всевозможных заставок на радио и телевидении. И все-таки чувство невольного стыда за незнание оставалось. Что же это такое? — думалось мне. — К Доге приковано внимание, но оно, выходит, не понимание, не оценка труда во всем его объеме, сложностях, противоречиях...

Иду на концерт.  
Чаша концертной летней эстрады похожа на гигантское ухо, повернутое к бесконечным, битком набитым, как на стадионе, рядам. Ждут любимого и популярного, знакомого, не маэстро, не автора учебника по теории музыки, И как бы отвечая на это терпеливое обожание, вышел играть первую вещь сам. Спрятал молодые любовные глаза. Стекла бело-

зубая безотказная для друзей и избалованная фотографиями улыбка. И лицо — сразу другое, с резкими морщинами вдоль щек, похушевшее, осветлевшее уже... Руки крупные, настороженно молчат на клавишах, пока говорит оркестр. Ну ничего такого от созданного журналистами образа оптимиста, у которого внутри завод на тысячу лет, про энергию которого легенды ходят: за неделю в трех городах, за день — в трех творческих союзах, на двух студиях, и еще в каком-то комитете заседает, в филармонии репетирует. Везде ждут. Везде нужен. А музыку пишет каждый день. У него это зовется «формой». Ее необходимо держать. И потому — утром велокросс или бегом — наперегонки со своей пятнадцатилетней дочкой Виорикой, а потом за рулем машины носится повсюду на немалых скоростях: успеть, успеть!

И сейчас сидел за роялем, будто у себя в машине, не пристегнув привязного ремня

недавно, уже познакомившись со славой, он так увлекся, что забыл про сон и еду (благо не было заботы домашних) и, выйдя на улицу, ослеп от красок полдня и чуть было не упал. Ослабились мышцы ног, отвыкших ходить за эти дни.

Тогда, после окончания консерватории в нем что-то происходило. В себе себя найти — вот что, оказалось, мука. Писать не мог. Ухо искало звук, единственный, свой. Дипломная работа — вокально-симфоническая поэма (не то, не то!) — пылилась на полке. А жизнь шла чередом. Из нее не выпадешь. Работал концертмейстером в оркестре Молдтеатра под управлением Александра Васечкина. Попросту говоря, на свой манер себя же истязал. Придут музыканты, рассядутся в ожидании репетиции. Ну, понятное дело, кто болтает про жену и детей, кто в шахматы. Он один, как укор, как живое воплощенное старание сидит, проигрывает какие-то места оркестра за роя-

неосознанно хотелось сломать рамки классического кино. И по сию пору Лотяну не сторонних логических концовок. Не любит их и Дога. Обрыв, недосказанность — или несказанность? — вот его любимый финал.

А переключка судеб? «Лэутары» не увидели бы свет, не будь у Эмиля Лотяну воспоминаний детства о бродячих музыкантах-лэутарах. И не быть бы в фильме богатой аранжировки молдавских напевов, если бы это фольклорное разноцветье звуков не было пропущено через слуховую память композитора, верного бо-соногого ученика старика-лэутара Мурги. И не было бы, поверьте, замечательной «Баллады» к спектаклю Иона Друцэ «Птицы нашей молодости», если бы не память, не истоки, не корни целого поколения талантливых молдавских художников — Друцэ, Лотяну, Дога... Этот круг, пришедших творить в 60-ые годы, можно расширить, одно будет у них общим —

тонкие качаются. И отступать некуда...

Тут впору было изумиться. Ведь не дале, как в прошлый раз довелось услышать лишнее неувенчивое признание: «Я только одного боюсь: вдруг мне что-нибудь помешает. Слушайная болезнь, другая нелепость. Ерунда, одним словом. Сейчас пишу легко, пишу радостно. Я слышу, сколько еще ненаписанной музыки. Спешу отчаянно!»

Верь после этого признанием оптимистов от искусства, у которых настроение, как погода в марте. Он опять — временно болен. «Лучафэрул» — имя этой болезни.

Всем известная со школьной скамьи поэма Эмнеску долго лежала невостребованной композиторами, балетмейстерами, постановщиками. Такая глыба. «Лучафэрул» — подумай боязно, сколько там тем, они, как игрушки, — одна в другую вкладываются! Девять лет назад Дога смело и свободно замаяхнулся на эту величину. Теперь, когда балет вполне отлежался (повторив, кстати, судьбу многих его произведений), и он намерен вставить из него номер в ближайший концерт, настала пора тревоги и сомнения: как примут?

5.

У Доги существует своя рабочая теория «накопления капсулы». (Не берусь утверждать, что это — вечная теория, и что ее не сменит через несколько лет другая, как изменится, возможно, и характер его творчества). Что это значит? Никогда не узнаешь, где прячутся истоки того или иного творения. Процесс накопления идет медленно, а капсула внутри тебя — уж не с гремучей ли смесью творческого взрыва? — меж тем полнится, где-то на грани томления складываются образ краски, запахи, звуки. Образ тревожит, но он неопределил, ему нужна форма... стекло капсулы все тоньше, ее содержимое светится, — вот-вот, достаточно толкнёт.

...Где-то в Москве поэт Владимир Лазарев смотрел «Огонек», на котором по традиции выступали космонавты. И вдруг Севастьянов к удовольствию публики лирически признается, что в кабине космического корабля ему грезились шум дождя, туман, да так ясно, что он ощутил влажное стелое дыхание осени на своем лице.

Лазарев не смог утерпеть до утра, тут же набрал Кишинев, и Дога, который еще тоже не спал, поднял трубку. — Это же песня! — восторженно заорал Лазарев. — Понимаешь! Мне приснился шум дождя и шаги твои в тумане!

Начатки сна, если они и были, тут же исчезли. Дога стал выстукивать мелодию прямо в трубку. Через несколько минут два человека, разделенные тысячей километров, перекрывали друг друга куплетами только что родившейся песни.

Как эта быстрота у него случается, в какой период накопления? Но капсула — не капсула — какая разница? Родается музыка... как откровение. «Откровение» назвал последний сборник песен — плод труда двух лет — композитор. Назвал по имени последней песни на слова Григория Виеру, простой и чистой, как звучание инструмента, под который она исполняется — «мелодики». И это не случайное выбранное название, легко заменимое другим. Наступила осень жизни, вернее, ее ранняя, самая щедрая, раскованная пора плодотворения, откровенная — до конца.

Мы неохотно произносим эти слова: озарение, дар. Стесняемся, что ли? А талант, слава богу, никаким процессом творчества, никакой школой, влияниями не объяснишь. Он появляется внезапно и редко, он неповторим, уникален, и как вода в источниках, как вековые дубовые рощи, он — достойные народа.

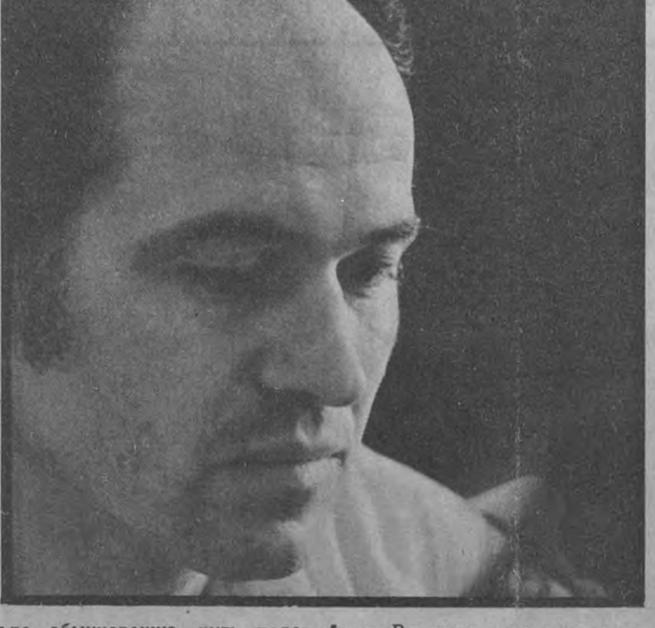
...В парке Пушкина в который раз за зиму наступила оттепель, обнажив асфальт и впечатанные в него коричневые остовы листьев.

На проспекте ветер тут и там загибает, грозя сорвать афиши, возмещающие о новом «концерте с участием лауреата премии комсомола Молдавии имени Бориса Главана, Государственной премии МССР Евгения Дога». Над толпой, течением машин, мелькает лицо человека, который умеет необыкновенно щедро улыбаться. Но что афиша? Этот след славы, улы, недолгосвечен в нашей быстротекущей жизни. Он не прочнее истертого до кружевного прозрачного свечения листка под ногой. Гораздо прочнее другой след, еще более невидимый, но так ясно и пронзительно осязаемый.

Не об удовольствии от исполнения его вещей я говорю. Оно исчезло с последними тактами, ощущения, бывшие при этом, забылись. Но остался центральный образ музыки, ее, если так можно сказать, силуэт. Прекрасный тем его значением, что он был верным сплском внутренней скрытой жизни каждого из нас... Он остался — и в памяти, и в душе.

Е. ШАТОХИНА.

# ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТНИХ ДОЖДЯХ



по обыкновению, чуть подавшись вперед. И не было никакой гарантии, что это — не рискованно, такая страстность, такая иступленность в музыке, что почище всяких скоростей.

Под аккорды его колдовского вальса, терпкого от грустных предчувствий, из последних сил чертили вечернее небо стрижки... Так же неудержимо, в страдании и тоске металась пойманная душа чеховской героини в лотяновском фильме «Мой ласковый и нежный зверь». Помните, как поднимает в воздух тело Ольеньки какая-то невиданная сила и опускает, ошеломленную, потерявшую дар речи, неверящую в этот миг? Вальс на озере держит весь фильм. Он его живой нерв, «тончайшая паутина звуков, сотканная из грез и былей, порывов и предчувствий», как сказал Лотяну.

...Концерт кончился. А потом были автографы, девушки и дети с цветками, аплодисменты и беспомощное, наивное и растерянное лицо Доги. На него постоянно направляли телекамеры. Музыкальные критики, члены правления Союза композиторов подходили к нему и что-то говорили, трогая его повыше локтя. Он уже ладил со всеми, его уже принимали таким, каков он есть.

2.  
Он вошел в музыку не как инные — от беккеровского рояля с пожелтевшими косточками клавишей, бесконечных родительских стояний над душой, гамм, стерших детские пальчики до нежных розовых мозолей. Не было портретов великих в рамках и повторов их имен с пеленок. И все-таки тяга к музыке прорывалась сквозь сиротство, войну, бедность. Так рвется из каменной сильное семя лесного цветка. Музыка жила в самодельной мандолине из отжившего свой век решета, в игре на барабане на сельской свадьбе. В мире все звучало. Надо было только суметь выразить эти звуки. Мать, как всегда, поняла первой: «Иди, учись, сынок...» Но дать на дорогу ничего не могла, кроме старых штанов, перешитых из отцовских. В пятидесятых он, школяр, был рад им, как теперь не обрадуешь консерваторцев и портротивным японским «магом». Это была, как оказалось, надежная прививка от самолюбования. И я, откровенно говоря, не завидую юным, надменным гениям от музыки, пришедшим к нему за судом и ответом с уверенностью победителей. Выпрет!

Как снаряд замедленного действия, он до двадцати восьми лет таил в себе взрывчатую силу. Долго по консерваторским меркам тянулось это молчание. Не обошлось среди профессоров без скептицизма: где это видано, где это слышано, чтобы серьезный музыкант как «прыгал» — то класс виолончели закончил, то класс композиции! Большой соблазн крикнуть в то время: да он же был из породы увлекающихся! Таким и остался. И совсем

лем. Васечкин взглянет и только молча вздохнет: «До чего себя человек довести может. Какой из тебя концертмейстер, Женья? Ты же талантливый — вон, поглядите, даже по фигуре худой, по копне волос, по всей стати видать — композитор!» Но вслух — ни-ни. Никаких комплиментов и по поводу услышанных раньше понравившихся студенческих вещей. Рано еще. Яблоко — и то свой срок паденья знает. Вот о чем думал скромный человек и неутомимый труженик Васечкин. В обещающих многие ходили. И, как Дога, сказали свое первое слово, а потом надолго, навсегда замолчали. Таланта не хватило, широты, терпенья — поди, узнай, теперь...

После репетиции Дога садился на мотороллер и гнал вдоль старых кишиневских кварталов, сплошь усаженных кудрявым виноградом, втайне злясь на себя и торопя судьбу, хоть нетерпенье, как известно, роскошь. И она заторопилась. Мотороллер заглох в самом неподходящем месте — напротив оперного театра. Чинить его пришлось на глазах доброго десятка зевак. Среди них стоял такой же отчаянно молодой, как и Дога, начинающий поэт и режиссер Георгий Водэ. Последний мучительно соображал, где он мог видеть этого малого с мотороллером. Наконец-то вспомнил, что слышал его песни, которые распевали студенты, подошел к перемазанному тавотом Доге и поинтересовался, не желает ли тот попробовать себя в кино.

Снаряд взорвался. Это было развзвыванье языка. Пожар цветенья. Назовите начавшуюся жизнь как хотите. Ищите объяснения в том, что целое поколение молдавских кинематографистов пришло тогда на «Молдова-Филм» (и среди них — Влад Иович, Валерий Гажиу, Георгий Водэ, Эмиль Лотяну), и всем им хотелось заговорить на своем национальном неповторимом киноязыке. Для этого нужна была музыка. Так она началась у Доги тот бурный неровный и счастливый период кинотворчества — пятнадцатилетний — который продолжается и по сию пору.

3.  
Что была для Лотяну и Доги их встреча и начавшаяся дружба? Случайность удачного соавторства? Совпадение? Выигрывает судьба? Ни то, ни другое, ни третье. Творцу для полного выражения замыслов гораздо чаще, чем мы думаем, бывает нужен близнец по духу. Так бывает нужен режиссеру актер, художнику-оформителю свой писатель, поэту — чуткий переводчик. Так двое находят на стыке искусств адекватные образы, резонансное понимание. Так стали в кинематографе естественным продолжением, долгим эхом друг друга лотяновское быстрое через край красками, хаотичное, неистовствующее искусство и характерные дога-вские «рыдающие» окончания, струнные «в два этажа», весь его своеобразный интонационный стиль, связанный с народными традициями. Им обоим

начало. Они слишком близко стояли к народной живой воде творчества, чтобы не зачерпнуть полные пригоршни чудодейственного напитка.

Путь музыковеды препарируют истоки произведений Доги, работая над диссертациями. Пусть нам объясняют, что характерный повтор музыкальной фразы композитора — это секвенция. Но пока никто не услышал одного: чем объяснить спокойное самостоятельное существование Доги среди довольно обширной плеяды молодых — или уже среднего поколения? — талантливых композиторов, пробующих себя в разных жанрах, — Скорика, Плакидиса, Артемьева, Паулса и других?

А меж тем Дога существует с ними наравне, и как немногие — независимо и защищено, благодаря верно найденному своему стилю, не узнать который уже нельзя. Он может отдать дань синкопам и другим современным ритмам, но мимоходом, как бы до конца не веря в серьезность сочинения такой музыки. Так отдают нечто во временное пользование. Хотите рафрепоститься в неэстетичном танце? Пожалуйста. Он перестанет клясть «бездарей от музыки, потакающих моде», и легко напишет изящную дискотечную безделушку — песенку «Радость». Ай-яй, какой там ритм! «Могу, но не хочу», — вот подтекст этих беглых взятков моде.

— Это рабочие вещицы! — не замедлит поправить композитор, потому что уважает в себе профессионала и по волему выкладывается до конца в небольшой песне. Но за такие вот «рабочие» вещицы он уже дождался упрека критиков в «нестрогом отборе мелодического материала и отсутствии психологизма» и по-ребячески был раздосадован.

Ему уже не прощают многое. И надо каждый раз доказывать все заново...

4.

Когда-то Светлов сказал, что чем быстрее летит время, тем медленнее должен думать писатель. Как и любой художник, наверное. В провинции (если его можно назвать Кишинев и любую точку Союза) думается неслабо. Небольшой город располагает к углубленному, без суеты, погружению в тему — не надо съезжать на дачу. Парки, Цветы. Зеленый. Солнечный полдневный жар. Вадь только здесь «бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера». Но не столько патриархальная тишина Белого города нужна дереву его таланта. Он здесь, в Молдавии, начался, впитал от корней все традиции, что нужны для роста и крепости, обрел форму после мелехалищих консерваторских ножиц, убравших все лишнее. Здесь он начал свой подъем «недерживаемой силы», обросив навязанный извне авангардизм, модернизм и еще какой-то «изм», и теперь свободный, настоящий властелин своей темы и своих исканий, стоит в кругу расчищенных деревьев. Ничего не могу подела-ть — так сказалося.

— Эк, загнули! Какой образ высокохудожительный закуружили. И вам не страшно? — мрачно усмеяется Дога, опять, как всегда, капризный и недобвольный, когда несколько дней подряд его отрывают от заветных часов сидения за роялем, с камертоном и секундомером по одну сторону, бумагами и нотами — по другую.

— А мне на этом. вашем пыльном дереве страшно бывает. Я, как мальчик, полезный за самыми вкусными плодами наверх, и от земли далеко и спускаться нельзя, хочется их сорвать. А ветки